

Максим Горький

Случай из жизни Макара



Максим Горький
Случай из жизни Макара

«Public Domain»

1912

Горький М.

Случай из жизни Макара / М. Горький — «Public Domain», 1912

Макар решил застрелиться. А ведь незадолго перед этим он чувствовал жизнь интересной, обещающей открыть множество любопытного и важного; ему казалось, что все явления жизни манят его разгадать их скрытый смысл...

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	10
-----------------------------------	----

Максим Горький

Случай из жизни Макара

...Макар решил застрелиться.

Незадолго перед этим он чувствовал жизнь интересной, обещающей открыть множество любопытного и важного; ему казалось, что все явления жизни манят его разгадать их скрытый смысл.

Ежедневно, с утра до ночи, тянулись они одно за другим, как разнообразно кованные звенья бесконечной цепи; глупое сменялось жестоким, наивное – хитрым, было много скотского, немало звериного, и – вдруг трогательно вспыхнет солнечной улыбкой что-то глубоко человеческое – «наше», как называл Макар эти огоньки добра и красоты, которые, лаская сердце великою надеждой, зажигают в нем жаркое желание приблизить будущее, заглянуть в его область неизведанных радостей.

Жизнь была подобна холодной весенней ночи, когда в небе быстро плывут изорванные ветром клочья черных облаков, рисуя взору странные фигуры, а внезапно между ними в мягкой глубокой синеве проблеснут ясные звезды, обещаая на завтра светлый, солнечный день.

Был Макар здоров и, как всякий здоровый юноша, любил мечтать о хорошем, – жило в нем крепкое чувство единства и родства с людьми.

В каждом человеке он хотел вызвать веселую улыбку, бодрое настроение, это ему часто удавалось и, в свою очередь, повышая его силы, углубляло ощущение единства с окружающими.

Он много работал и немало читал, всюду влагая горячее увлечение. Хорошо приспособленный природою к физическому труду, он любил его, и когда работа шла дружно, удачно – Макар как будто пьянел от радости, наполняясь веселым сознанием своей надобности в жизни, с гордостью любуясь результатами труда.

Он умел и других зажечь таким же отношением к работе, и когда усталые люди говорили ему: «Ну, чего бесишься? Ведь хоть надвое переломись – всего не сделаешь!» – он горячо возражал:

– Сделаем, а там – гуляй свободно!

И верил, что, если убедить людей дружно взяться за работу самоосвобождения, – они сразу могли бы разрушить, отбросить в сторону все тесное, что угнетает, искажает их, построить новое, переродиться в нем, наполнить жилы новой кровью, и тогда наступит новая, чистая, дружная жизнь!

Чем больше он читал книг и внимательнее смотрел на все, медленно и грязно кипевшее вокруг, – тем острее и горячее становилась эта жажда чистой жизни, тем яснее видел он необходимость послужить великому делу обновления.

Каждое сегодня принималось им за ступень к высокому завтра, завтра, уходя все выше, становилось еще более заманчивым, и Макар не чувствовал, как мечты о будущем отводят его от действительного сегодня, незаметно отделяют его от людей.

Этому сильно помогали книги: тихий шелест их страниц, шорох слов, точно шепот заколдованного ночью леса или весенний гул полей, рассказывал опьяняющие сказки о близкой возможности царства свободы, рисовал дивные картины нового бытия, торжество разума, великие победы воли.

Уходя все глубже в даль своих мечтаний, Макар долго не ощущал, как вокруг него постепенно образуется холодная пустота. Книжное, незаметно заслоняя жизнь, постепенно становилось мерилем его отношений к людям и как бы пожирало в нем чувство единства со средою, в которой он жил, а вместе с тем, как таяло это чувство, – таяли выносливость и бодрость, насыщавшие Макара.

Сначала он заметил, что люди как будто устают слушать его речи, не хотят понимать его, и, в то же время, в нем явилось повелительное тяготение к одиночеству. Потом, каждый раз, когда его мнения оспаривались или кто-нибудь осмеивал их наивность, он стал испытывать нечто близкое обиде на людей. Его мысли дорого стоили ему: он собирал и копил их в тяжелых условиях, бессонными ночами, за счет отдыха от дневного труда. Был он самоучка, и ему приходилось затрачивать на чтение книг больше усилий, чем это нужно для человека, чей ум приспособлен к работе с детства, школой.

Утратив ощущение равенства с людьми, среди которых он жил и работал, но слишком живой и общительный для того, чтобы долго выносить одиночество, Макар пошел к людям другого круга, но в их среде, – еще более и даже органически чуждой ему, – он не встретил того, что искал, да он и не мог бы с достаточной ясностью определить, чего именно ищет?

Он просто чувствовал, что в груди у него образовалось темное, холодное зияние, откуда, как из глубокой ямы, по жилам растекается, сгущая кровь, незнакомое, тревожное чувство усталости, скуки, острое недовольство собою и людьми.

Люди нового круга были еще более книжны чем он, они дальше его стояли от жизни, им многое было непонятно в Макаре, он тоже плохо понимал их сухой, книжный язык, стеснялся своего непонимания, не доверял им и боялся, что они заметят это недоверие.

У этих людей была неприятная привычка: представляя Макара друг другу, они обыкновенно вполголоса или шепотом, а иногда и громко добавляли:

– Самоучка... Из народа...

Это тяготило Макара, как бы отодвигая его на какое-то особенное место. Однажды он спросил знакомого студента:

– Зачем вы всегда говорите, что я самоучка, из народа и подобное?

– Да ведь это же, батя, факт!

Как бы там ни было, в этой среде Макар не мог укрепить свою заболевшую душу. Он пробовал что-то рассказывать о затмении души, был не понят и отошел прочь, без обиды, с ясным ощущением своей ненужности этим людям. Первый раз за время своей сознательной жизни он ощутил эту ненужность, было ново и больно.

Потом, вероятно, сказались переутомление, отозвались ночи без сна, волнующие книги, горячие беседы, – Макар стал чувствовать себя физически вялым, а в груди всегда что-то трепетало, нервы, как будто проколов кожу, торчали поверх нее, точно иглы, и каждое прикосновение к ним болезненно раздражало.

Макару было девятнадцать лет, он считал себя неутомимо сильным, никогда не хворал, любил немножко похвастаться своею выносливостью, а теперь он стал противен сам себе, стыдился своего недомогания, стараясь скрыть его, едко осуждал сам себя, но все это плохо помогало, и тревога, ослабляющая душу, становилась тяжелей...

В то же время он почувствовал себя влюбленным, но – не мог понять, в кого именно: в Таню или в Настю,¹ – ему нравились обе. Полногрудая, высокая и стройная приказчица Настя только что окончила учиться в гимназии, радуясь свободе, она весело и ясно улыбалась всему миру большими, темными, как вишни, глазами и показывала белые, плотные зубы, как бы заявляя о своей готовности съесть множество всяких вкусных вещей. Таня была маленькая, голубоглазая, белая, точно маргаритка, она со всеми говорила ласково, слабеньким, однообразно звеневшим голосом, мягкими, как вата, словами и смеялась тихим, тающим смехом.

Макар не скрывал своих чувств перед ними, и это одинаково смешило подруг, – они были веселые. Он же подходил к ним, как бездомный, иззябший человек подходит зимой

¹ Прототипом Тани явилась сестра А. С. Деренкова – Маша, а Настя – ее подруга по гимназии Надя Щербатова. Обе они работали в булочной Деренкова. В первый свой приход к Деренкову Горький познакомился с Машей, которая произвела на него большое впечатление. В 1931 г. Горький писал Груздеву: «Тут же письмо о Марии Степановне Деренковой, некогда поразившей воображение мое сначала и – затем – сердце».

ночью греться около костров, горящих на перекрестках улиц, ему думалось, что эти умненькие девушки могут – та или другая, все равно – сказать ему какое-то свое, женское, ласковое слово и оно тотчас рассеет в его груди подавляющее чувство оброшенности, одиночества, тоски.

Но они шутили над ним, часто напоминая ему о его девятнадцати годах и советуя читать серьезные книги, а усталая голова Макара уже не воспринимала книжной мудрости, наполняясь все более темными думами.

Их было бесконечно много, они как будто давно уже прятались где-то глубоко в нем и везде вокруг него; ночами они поднимались со дна души, ползли изо всех углов, точно пауки, и, все более отъединяя его от жизни, заставляли думать только о себе самом. Это были даже не думы, а бесконечный ряд воспоминаний о разных обидах и царапинах, в свое время нанесенных жизнью и, казалось, так хорошо забытых, как забывают о покойниках. Теперь они воскресли, оживились, непрерывно вился их хоровод – тихая, торжествующая пляска; все они были маленькие, ничтожные, но их – много, и они легко скрывали то хорошее, что было пережито среди них и вместе с ними.

Макар смотрел на себя в темном круге этих воспоминаний, поддавался внушениям и думал:

«Никуда я не гожусь. Никому не нужен».

А вспомнив горячие речи, которыми он еще недавно оглушал людей, подобных себе, внушая им бодрость и будя надежды на лучшие дни, вспомнив хорошее отношение к нему, которое вызывали эти речи, он почувствовал себя обманщиком и – тут решил застрелиться.

Это тотчас успокоило его, он почувствовал себя деловито и рачительно начал готовиться к смерти.

Пошел на базар, где торговали всяким хламом и старьем, купил там за три рубля тяжелый тульский револьвер; в ржавом барабане торчало пять крупных, как орехи, серых пуль, вымазанных салом и покрытых грязью, а шестое отверстие было заряжено пылью. Ночью он тщательно вычистил оружие, смазал керосином, наутро взял у знакомого студента атлас Гиртля,² внимательно рассмотрел, как помещено в груди человека сердце, запомнил это, а вечером сходил в баню и хорошо вымылся, делая все спокойно, старательно.

Придя из бани, сел в своем углу за стол, чтобы написать записку, объясняющую его смерть, и тут пережил неприятно волнующий час: не удавалось найти нужное количество достаточно веских слов, которые бы просто и убедительно объяснили людям, почему Макар убил себя.

«Я умер, потому что перестал уважать себя», – написал он, но это показалось очень громким, неверным и обидным.

«Никто меня не любит, никому я не нужен», – это было стыдно, он тщательно вымарал жалкие слова, заменив их другими:

«Жить стало тяжело...»

«Живут люди тяжелее, и самому тебе раньше жилось хуже», – оборвал он себя, смяв бумажку в твердый комок.

Задумался, чувствуя себя пустым и глупым, потом снова написал:

«Я умираю оттого, что никому не нужен и мне не нужно никого».

«Вот если прибавить еще недужен – выйдут стихи, и очень глупо, и все не то, все неверно», – холодно и зло подумал Макар, оглядываясь вокруг и чувствуя потребность пожалеть что-то.

Но смотреть не на что и жалеть нечего: его комната была узким пространством между шкафом магазина и стеною без окна, вход в эту длинную впадину был завешен рыжим войлоком, а сейчас же за ним, в стенке шкафа, – дверь в магазин. Вдоль шкафа – койка, на которой

² Иосиф Гиртль. Руководство к анатомии человека. М., 1879.

сидел Макар, перед ним – ящик, заменявший стол, несколько толстых книг, маленькая лампа Мутно-голубого стекла, желтый свет упал на лицо Роберта Оуэна, – гравюру из книги, купленную за пятак. На стене старинная литография – Юлия Рекамье³ – и колючее, птичье лицо Белинского. Когда в магазине отворяют дверь с улицы – сквозь щели в стенке шкафа дует, и на Макара плывет сипло вздыхающий звук, шевеля бумагу, которой оклеен ящик. Над столом торчало маленькое, тусклое зеркало в жестяной оправе.

Макар снова взялся за перо, думая:

«Напишу что-нибудь смешное...»

Но вдруг спросил сам себя:

«Да кому ты пишешь? Ведь писать-то некому!»

Это было верно, но – опять-таки обидно как-то.

Отворилась трескучая дверь из магазина, всколыхнулся рыжий войлок, из-за него высунулось розовое, веселое лицо приказчицы Насти, она спросила:

– Вы что делаете?

– Пишу.

– Стихи?

– Нет.

– А что?

Макар тряхнул головою и неожиданно для себя сказал:

– Записку о своей смерти. И не могу написать...

– Ах, как остроумно! – воскликнула Настя, наморщив носик, тоже розовый. Она стояла, одной рукою держась за ручку двери, откинув другою войлок, наклонясь вперед, вытягивая белую шею, с бархоткой на ней, и покачивала темной, гладко причесанной головою. Между вытянутой рукою и стройным станом висела, покачиваясь, толстая длинная коса.

Макар смотрел на нее, чувствуя, как в нем вдруг вспыхнула, точно огонек лампы, какая-то маленькая, несмелая надежда, а девушка, помолчав и улыбаясь, говорила:

– Вы лучше почистите мне высокие ботинки – завтра Стрельский играет Гамлета,⁴ я иду смотреть, – почистите?

– Нет, – сказал Макар, вздохнув и гася надежду.

Она удивленно пошевелила тонкими бровями.

– Почему?

Тогда он тихо и убедительно сказал, как бы извиняясь:

– Честное слово, я сегодня застрелюсь – вот сейчас и пойду! Так что чистить башмаки ваши перед самой смертью – неловко как-то, не подходит...

Она откачнулась назад и исчезла, оставив в комнате недовольное восклицание:

– Фу, какой вы скучный!

Макар очень удивился, раньше ему не говорили этого, но тотчас утешил себя:

«Конечно, скучный, если уж почти покойник...»

Решительно взял перо и написал:

«Если этот случай беспокоит вас – прошу извинить. М.».

Но, прочитав, добавил, усмехнувшись:

«Больше не буду».

«Будто – глупо? Ну, ладно, все равно уж...»

³ *Жюли Рекамье* (1777–1849) – хозяйка знаменитого парижского салона времен Директории, империи Наполеона I и Реставрации. Видимо, речь идет о литографии с ее портрета работы Франсуа Жерара (1802) или Жака Луи Давида (1800).

⁴ *М. К. Стрельский* (1844–1902) – русский драматический актер; состоял в труппе Александринского театра. В сентябре – ноябре 1887 г. выступал в Казани в Русском драматическом театре, но роль Гамлета не исполнял (см.: «Казанские губернские ведомости», 1887, 12 сентября – 29 октября; «Волжский вестник», 1887 11 ноября).

И сунул записку в щель шкафа так, чтобы она сразу бросилась в глаза. По стеклу зеркала скользнуло отражение Макарова лица, тихонько задев какую-то грустную струну в душе.

«Еще что?» – спросил он себя, невольно и осторожно одним глазом снова заглядывая в зеркало – оттуда косо и недоверчиво смотрело угловатое лицо, его выражение показалось Макару незнакомым: серовато-голубые глаза как бы спрашивали о чем-то, растерянно мигая, а трепету длинных век непримиримо противоречили нахмуренные брови и упрямо, плотно сжатые губы.

Лицо некрасивое, грубое, но – свое, Макар знал его и вообще был доволен своим лицом, находя его значительным, но сейчас оно какое-то стертое, надутое, что-то утратившее – чужое.

«Хорошие у меня глаза», – подумал Макар.

Густые мягкие волосы обильно упали на лоб и щеки, они шевелились – это оттого, что почти ежеминутно дверь магазина с визгом и дребезгом отворялась и в щели шкафа дул сильными струйками воздух, насыщенный запахом печеного хлеба.

Юноша смотрел на себя и чувствовал, что ему становится жалко глаз, мускулистой шеи, сильных плеч – жалко силы, заключенной в крепком теле. Через час она бесплодно и навсегда исчезнет, и среди людей не будет больше одного из них, еще недавно умевшего внушать им интерес к важному и доброму. Эта жалость просачивалась в тело как бы извне и текла сквозь мускулы внутрь, к сердцу, переполняя его холодной тяжестью самоосуждения.

«Ну – ладно, будет! – сказал он сам себе. – Не сладил с судьбой и не кобенься... Надо идти в мастерскую прощаться, или не надо?»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.